

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

2003

10

2003

НОВЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 10 (942)

Октябрь, 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Без тебя, стихи	7
ВЛАДИМИР МАКАНИН — Могли ли демократы написать гимн...	
Рассказ	12
АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Мимо жимолости и сирени, стихи	26
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ — Чума, роман. Окончание	33
ВИКТОР КУЛЛЭ — Пчелиные числа, стихи	103
ДМИТРИЙ ПОЛИЩУК — Мастер пения, стихи	108
АНТОН УТКИН — Рассказы	110
ЮРИЙ КОБРИН — Сиреневый хутор, стихи	130

ОПЫТЫ

Города и годы

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ — Петербургский пейзаж: камень, вода, человек	134
ЛИЛЯ ПАНН — Аритмия пространства	142
ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА — Прекрасная чужбина	152

КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Старшая дочь короля Лира	158
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Леонид Леонов — «Вор». Из «Литературной коллекции»	165
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Владимир Холкин. В «кругу» и вне «круга»	172
Евгения Свитнева. «Критика поэта» или «поэзия критика»?	176
Юрий Каграманов. ...А они к нам всей спиной	180
Андрей Н. Окара. Апология «минимальной» Украины	185
Ирина Машинская. Энциклопедия достоинства	187

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА	190
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	196
CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА	201
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	207

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	213
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	217
SUMMARY	240

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ АВТОРОВ

**ИЛЬЮ КОЧЕРГИНА,
СЕРГЕЯ ШАРГУНОВА**

С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ ПРЕМИИ МОСКВЫ!

**Оба прозаика были выдвинуты на соискание премии Москвы
в области литературы и искусства за 2003 год
журналом «Новый мир».**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, теле-радиовещания и средств массовых коммуникаций.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



ЛЕОНИД ЛЕОНОВ — «ВОР»

Из «Литературной коллекции»

Этот роман существует в трёх версиях: исходная, 1926-27 гг.; переделка 1959 г.; и переделка 1982 г. В 20-е годы роман прогремел, но и получил жестокую советскую критику. К 50-м годам изрядно забылся, и, видимо, автор захотел дать ему новую жизнь, но уже приемлемую в советском русле. (Этой редакции я вовсе не смотрел.) Судя по году, выскажу догадку, что уступки могли быть значительны и досадны для автора. Отсюда могла возникнуть потребность в 3-й редакции, в чём-то возобновительной, а само собой — и с нарастающим от возраста мастерством. (Я сверил лишь уступки нескольких ранних мест, не сплошь.) В дальнейшем разбор идёт только по исходному варианту 20-х годов.

Ставка автора — на занимательность и сквозную яркость изображения, чего бы ни коснулся. Напряжённо старается писать свежо, фигуристо. Особенно заметно такое в начале книги, потом эта литературная непростота (расчёт на образованного читателя) исчезает. Но это — и не в струе тогдашнего авангардизма, никак. Пожалуй: ещё не было схожих текстов в русской литературе, свежесть — отменная.

Тем не менее — автор под сильным влиянием Достоевского. Однако — никак не ученическим: Леонов — не в ряду покорённых, увлечённых учеников. Влияние Достоевского у него переплетается с самобытностью. От Достоевского — непомерное сгущение сцен (как именины у толстухи Зины, ч. II, гл. 13—15, переходящие в разоблачительное чтение дневника унижаемого соседа; или поминки у неё же, III, 4—5); внезапность появления новых лиц; пестрейшие компании, карнавал персонажей, типов; бурный поток монологов, полилогов, да с обострениями; надрыв, униженность, юродство; или неправдоподобные сочетания, как вор Митька Векшин перед *правилкой* над предателем банды прыгает на ходу в пролётку психиатра с острым вопросом: допустимо ли убить безоружного человека (IV, 3) — и следует блистательный диалог. Однако: Леонов *не* повторяет словесной фактуры Достоевского, в подражание чему чаще всего и впадают. И ещё Леонов ярко *расцвечивает* все лица, тогда как романы Достоевского льются скорее в серо-бело-чёрном цвете, красок недостаёт. Но — нет у нашего автора нигде той высоты мыслей и того духовного верхнего «этажа», какими так славен и характерен Достоевский.

Вполне в манере Достоевского и действует в романе всеобщий доверенный посредник («конфидент») — посторонний свидетель многих ситуаций, сюжетно связывающий персонажей. В качестве такого введен писатель Фирсов. Само по себе введение писателя как действующего лица всегда производит впечатление вторичности произведения, недостатка авторского воображения. Но тут у Леонова решение нерядовое, динамичное. Фирсов задумал роман о воровской среде, собирает материалы по требованиям сюжета то там, то здесь, вступает в личные соотношения с персонажами, кому помогает, с

кем дружит, с кем пропивает гонорар, в кого влюбляется, попадает и сам в «достоевские» сцены наплыва визитёров или исповедательные (как с убийцей Аггеем, I, 20, возжелавшим перед смертью оставить и свой след в публичности); да и фирсовская манера сбивчивых бесед и метаний тоже отдаёт Достоевским. В таком включении сочинителя есть и удавшаяся игривость (ещё усиленная юмористической добавкой вора Доньки, изливного в стихах). Создаётся двоение литературной формы, роман в романе, как составное яичко в яичке — хотя от этого же снижается реальный вес книги. (Конечно, в советских условиях такой назойливый собиратель сведений был бы всеми сочтён сексотом и отвергнут, но уж тут условность.) Заодно через Фирсова демонстрируются и находки из леоновской записной книжки, неиспользованные фрагменты авторского пера, да и попытки высказаться по философским верхам, хотя это не получилось веско. Через него же, осторожно, ощущение писателя в советском бытии: «Наше время нужно пока запечатлевать лишь в фактах, без всяких примечаний», и «пририсовал домик с решётчатым окошком». — «Писатель сейчас в забвении. С нами общаются только через фининспектора. Какая расточительная щедрость эпохи».

Но вот, незримо для нас, тот мнимый, вставной роман уже написан и опубликован, ранее реального, ещё незаконченного, оттого расходится с ним в развязке, но даёт возможность Леонову огласить и предупредить ожидаемую им будущую критику. Роман Фирсова громят за «идеологический пессимизм», «идеологические ошибки», за «подражательность классике». «Как мог, на самом рассвете» общественного бытия, герой Гражданской войны (Дмитрий Векшин) опуститься в вора? Сказалась «недостойность эстетического подхода к революции». (Да не «эстетического», а затруднение Леонова было в том, что не мог он распахнуть в Векшине прямое разочарование итогами революции. Я не искал по газетности, как на самом деле честили леоновского «Вора», думаю, что и покрепче.)

Роман «Вор» изобилует яркими сценами (трактир, шалман, застолья, цирк и многое другое). При этом Леонов никогда не измеляется в лишних деталях, а выхватывает: живопись и портретность. Везде очень свободный, нестеснённый (и своеобразный в разных социальных слоях) диалог, иногда и до нарочитой изощрённой ломаности. Клубок персонажей очень уплотнён (хотя местами искусственно). Действие весьма стремительное, пустых глав не бывает. Много живого остроумия.

Но всё это с оговоркой: так — в первых двух частях. Они — целиком необходимы в общей композиции и наилучше разработаны. В начале III части ещё сохраняется та же хваткость, блестящие главы — и вдруг ощущение опадания действия, необязательные сцены, как будто сюжеты исчерпались — и автор не знает, чем наполнить, и можно бы идти к развязке? Роман как бы начинает распадаться сам собою, теряет упругость, плотность, хребет. В начале IV части — короткая вспышка на несколько глав, снова острая проза, сверкающие диалоги, сцены (как изящно передана, IV, 4—5, вся смена блюд, никак не давая прямого описания стола). Но нет, дыхание не возвращается в роман, сущностного действия всё равно уже нет, оно исчерпалось. Автор затягивает развязку, да явно колеблясь, как быть с заглавным персонажем Митькой, некместно добавляет ещё новое юмористическое лицо, смазывает сцену решающей воровской *правилки* — вялое, затянутое, неубедительное окончание. (В редакции 1982 часть IV отсутствует, заменена укороченным Эпилогом.)

Однако: насколько роман оправдывает своё название? Насколько Дмитрий Векшин (один раз названный и «русским Рокамболом») является смысловым и организующим стержнем книги? — Никак. Здесь что-то не задалось. В многочисленных (и удачливых) заботах о множестве образов и, хотя бы с III части, в сомнениях-томлениях об общей конструкции и задаче — автор не нашёл истинного места и смысла заглавному герою.

Первое появление Векшина в трактире как будто обещает богатую разработку образа. Однако она не состоялась, даже и внешне мы его плохо различа-

ем: крупная фигура, мало представимые у него бачки? — да вот чуть ли и не всё, что остаётся в памяти читателя.

Формально узнаём, что Дмитрий — сын что-то очень уж нищего железно-дорожного будочника (это — реверанс автора: мол, в дореволюционной России весь народ был нищ?), ушедший из дому в раннем возрасте, прошедший юность неизвестно где, — в Гражданскую войну был, ни много ни мало, комиссаром кавалерийского полка. Но и это важнейшее прошлое героя сообщено нам одним лишь *называнием*, не проявлено чертами характера, и не узнаём из тех лет никаких реальных эпизодов. (Все воспоминания о Гражданской войне — почти игрушечны.) Или — сохранившийся бы круг ветеранов, военных друзей? (Только двое: ординарец его Санька-Велосипед стал вором, по-прежнему почитающим своего Хозяина; и другой — Аташез, тогдашний секретарь полковой ячейки, теперь — директор, советский чин, но — эпизодическое лицо.) Сообщено вскользь: потом, за самоуправство, Векшин был отстранён от должности — но не видно, чтоб судим? и как и когда ушёл из партии большевиков, или из Красной армии? Затем одно упоминание о 1924 году: когда в Доме Союзов стоял гроб с Лениным, то Векшин ходил ко гробу: прежде того «он полон был надежд говорить с Лениным, единственным человеком, которому доверялся весь». — Но вот разливается НЭП, и мы почти сразу видим Митьку воровским паханом и лично *медвежатником* — вскрывателем сейфов. Да в каком-то полусознательном состоянии (которое дальше овладевает им всё чаще) бредущим в то самое акционерное общество, которое ночью ограбил и где как раз производят розыск. (Благополучно его миновав, вскоре почти все выкраденные тысячи проигрывает в карты.)

Замах замысла можно понять: красный комиссар — и вдруг воровской вожак? — в советское время? (Кто знает много биографий тех лет, так и не очень удивится.) Но Леонов — из осторожности? — уходит от мотивировок, от объяснений, даже в ущерб простой живости героя. Воровская компания (тот же Санька-Велосипед, и Донька, и Панама-Толстый, и балтийский матрос Анатолий Машлыкин, в Гражданскую «одиннадцать атаманов своими руками задавил», и убийца Аггей) обрисована ярко. Особенно Санька-Велосипед, решивший «завязать» воровскую жизнь, соединившийся с милой тихой женщиной и насильно вырываемый Хозяином в «дело», — мстит ему тем, что выдаёт.

Большую часть романа Митька неприкаянно бродит, ища, у кого утолить душу — или у Маши Доломановой, отторгшей его возлюбленной ещё отроческих лет и тоже опустившейся в воровской мир; или у чудака-слесаря одинокого Пчхова (исповедуется ему: «Обрублен я и боли не чувствую»); или у влюблённой в него соседки по коммунальной квартире. То — болен влётку, то в сумбуре, то в нём какие-то «голоса кричат, разрывают», то галлюцинации; то в нём «непомерно очищенные мысли» (но нам не приведены), какие-то внутренние умственные монологи, явно не по нему. (Портит и лобовое — для цензуры? — авторское объяснение: «Лишь на перегоне двух эпох, в момент великого переустройства, возможно такое болезненное метание», — о, далеко не только «на перегоне».) Вослед этим шатаниям бредёт и читатель в попытке понять, чем же это кончится. Воровское «дело» показано одно, неудачное (подкоп под ювелирный магазин). Да разок посещение «шалмана» для картёжной игры. Кто-то выдал их милиции. Подозрение-догадка, кажется, на возлюбленную Машу — и к концу II части мнится, что Митька готовится к расправе — не открытой нам, и тем загадочней (II, 17). Но намерение его, накалённое знойным днём при чьих-то похоронах, гроб обтянут красной бязью, и красное платье помнится у любимой, — далее перезатнуто и увяло ничем (II, 23). Вот не тут ли и потерян возможный стержень сюжета. (Расплата, но уже с другим предателем, оттягивается до конца IV части.)

В опережающем (и не совпадающем) сюжете Фирсова — «вор, по честности и воле, погибнет смертью жестокой и великолепной». Было ли так задумано у Леонова? Но решилось совсем не так.

Самое неестественное, что Митька не прячется, живёт открыто, при известной его воровской славе, — и никто его не арестовывает. Или это — от века «социальной близости»? власти заняты «контрреволюционерами»? Всё тот же Аташез ободряет Митьку: не задержу тебя, «такие нам нужны. Ты дороже 40 тысяч [человек? рублей?] стоишь», уезжай-ка ты из Москвы в 24 часа. Но Митька с атаманской малодвижностью и не шевелится на совет. — Между тем забрасывается нам и такая социальная версия: будто Митька в натуре не простонароден, а — незаконный сын помещика Манюкина — ныне разорённого революцией и тоже нам показанного, очень ярко.

Так и не освоюсь с главным героем романа, плохо развидев его и не поняв — читатель к самому концу книги награждён милым социалистическим решением: Митька уехал в дальнее сельское место, пошёл к лесорубам, научился у них трудиться, затем поступил на завод, одновременно учился, — ну и так стал достойным членом общества. И не опозорил своего комиссарского прошлого...

И — стоило огород городить, Леонид Максимыч?

Несостоявшаяся подруга Митьки — Маша-Вьюга (детская любовь их описана лирично), чья юность искалечена воровским изнасилованием, она — куда внятней (ещё урезчённее от женских демонических характеров Достоевского). Метучая, властная, мгновенно-решительная, — такую стала она из кроткой девочки. Да, это она и *заложила* шалман, чтобы погубить своего насильника Аггея (вскормленного на крови той же Гражданской войны). У неё броская, меткая, точная речь. И «отточенная, бесстрашная её красота»; «к её лицу не шло сострадание. В рисунке её стремительных бровей и тонких повелевающих губ негде было уместиться даже любовной жалости». Митьку в его душевном сокрушении и упадке она вглубоке продолжает любить, но не до того, чтобы вернуться к нему. Маша-Вьюга — «неотгоняемое видение» и для сочинителя Фирсова, он падает перед ней на колени. (Ещё о ней между делом: с Семнадцатого года она сочувствовала красным.)

Напротив, изрядно бледно обрисована Митькина сестра Таня; образ её поддерживается почти только цирковым акробатическим антуражем. Что она когда-то разобьётся — это обречённо предвидимо. Не растеplяют и похороны её.

Но она и приписана-то в роман лишь в дополнение к Николке Заварихину, с кем тщетно пытается совершить «бегство в замужество». Заварихин — «русская сила» — самобытный, предприимчивый деревенский парень, ринувшийся в нэповский город для делового разворота и обогащения — «как бы имея весь мир в кармане», стать «хозяином льна». К Тане у него грубая нежность, но даже и простого внимания к ней не хватает за напряжёнными деловыми заботами. Уже после близости (в размышлении: «смотри, клоп ползёт» по стене) одождает у Тани денег для разворота своего дела, но при этом обещает, что отдаст с процентами. При первом увидении её акробатического номера (ещё до знакомства) сдуру заорав на весь цирк: «Разбейся!», — он потом поддерживает Танино намерение оставаться в цирке: больше дохода будет.

Собственно, тип такой, с лихо купеческими разворотами — то широкий кулёж в кабаке для всех присутствующих («разгневанная сила»), то ярая гоньба в пролётке («хорошее приспособление лошадь», а «машину не разжалобишь»), притом и с жадностью в расчётах и в быту, — для русской литературы никак не нов и многовариантно описан. Нова лишь привязка к нэповскому периоду после недавней деревенской хлебозаготовочной выголодки, озверившей Заварихина: «Совесьть заместо хлеба сожрали в голодные годы». (Но об этом мотиве автор больше ни слова.) В отличие от безудачного воровского вожака, которого автор пытается (малоуспешно) выставить нам романтически, — Заварихин без снисхождения окариатурен. И это — с целью. У Леонова проступает здесь такое социальное провидение: вор — идёт вниз, а этот мужик, «дикая сила», — вверх. И пред близким торжеством такого типа зрится Леонову опасное будущее, деревня ему страшна. В другом месте: «Берегись, как бы осмеянный тобою богоносец не надел жилетку с серебряной цепочкой через грудь».

Но в предчувствии таком, в опасении своём Леонов сильно прошибается: ещё два-три года, и всех этих заварихиных смелет с костями большевицкая мясорубка, а воры-то многие как раз успешно врастают в советский аппарат.

Русская деревня тоже слегка присутствует в романе — но как? Вот этот угнетающий грабёж, насилие от властей, расстрелы, голод — разумеется не даны ни штрихом. Сперва — курьёзное и злозавистливое письмо от заброшенного Митькой его сводного брата Леонтия; затем, уже в III части, при расслаблении фабулы, автор отправляет Дмитриядохнуть деревенского воздуха, освежиться душой. И попадает он там на карикатурную бессмысленную свадьбу с непристойными танцами. («Развалившееся очарование детства и родины».) У Леонтия — «крупные, из чёрного камня выточенные глаза», а речь — замудрённая, с ускользающим смыслом, и очень злая. «Вплотную поговорить, чтоб страшно стало обоим». Напряжённо, но неясными словами выражает Леонтий мужицкий протест против всего городского. (Вообще народные слова рассыпаны небогато.) Дмитрий теряется перед братом и поспешно уезжает в город.

Не прямо от автора, а почти и прямо: «Электрические вожжи нужны для этой враждебной дикой силы. Умная турбина, новый человек». (Вслед «Вору», через год, Леонов опубликовал ещё «Необыкновенные истории о мужиках», где русская деревня показана зверским лицом, — так благословение грядущему раскулачиванию? Ещё через год, в 1929, наш автор стал и председателем Всероссийского союза писателей...) От Леонова — по его последним книгам старости? — этого не ждешь: такого отщата от народного сознания, такой чужести ему.

А более всего удались Леонову второстепенные персонажи, отчётливые характеры, — от них в романе яркое многолюдное оживление. Кроме трактирной публики да воровского шалмана большая часть их втиснута в одну и ту же коммунальную квартиру, где они и мелькают, где и происходят многие с ними события.

Тут и насадчик всех законов фининспектор, и он же преддомкома, Чикилёв. (Развешивает по квартире постановление, «правила жизни», блюдет за недопустимыми отклонениями. «Через милицию буду действовать».) — Любвеобильная толстуха Зинка Балдуева (поющая песенки в пивной). — Её брат Матвей, всё сидящий над классиками марксизма (а спит на ящиках), сестре: «Родство наше — простая случайность». — Тут и разорённый революцией барин Манюкин, зарабатывающий тоже в пивных и трактирах, перед гулящим народом, витиеватыми импровизациями — яркословными, даже с избытком яркости картин. (Этому Манюкину, когда-то создателю земской школы, когда-то владельцу многотысячной, теперь отобранной, библиотеки, «на семи грузовиках увезли в революцию», — ходом романа затем приписано внебрачное отцовство — то ли Митьки, то ли Леонтия.) Ныне Манюкин, почти раздавленный, жалкий, трепещет перед Чикилёвым — до «льстивого скрипа дверью», чтобы быть неслышным. А Чикилёв снисходит до женитьбы на Зинке, но высмеяв её: «воробей к корове сватается!» — Ещё одна соседка по квартире говорит всего несколько фраз — а характер! — Ещё, особняком от этой квартиры, — старобытный, нутряной, весьма характерный слесарь Пчхов в одинокой конуре, изрекающий мудрости косным языком. И милейший старый немец-циркач Пугель, заботливый опекун Тани.

Как жаждет Фирсов «кусочек прямо из жизни вырвать» — так щедро вырывает и представляет нам подлинный автор романа. Удача — большая.

Но все эти персонажи и события льются в обычном жизненно-бытовом потоке, почти не несут разительных жестоких черт первого советского десятилетия. Однако вправе ли мы из исторического далека упрекнуть раннего Леонова в том, что он старается эти черты обходить? Ему, видно, и так изрядно досталось от советской критики за показанное, это можно проследить и по довольно-таки невинным фрагментам, которые он выбрасывал при поздних редакциях. Например:

— одно высокое лицо сказала: писать непременно полезное в общем смысле;

— жизнь приходит в стройный порядок: пропойца пьёт, поп молится, нищий просит, жена дипломата чистит ногти;

— за человеком следить надо, человека нельзя без присмотра оставлять. В будущем государстве каждый может прийти ко всякому и наблюдать его жизнь. Тогда все поневоле честными будут.

Не проследил я, остались ли, или убраны такие места:

— официальный курс страны на краснощёкого человека;

— кругло выдумать, так незачем и от правды отличать;

— согласно декрету, но не забывайте;

— все законы исполнять — тогда и жить станет николи;

— жалость — контрреволюционная добродетель;

— Не трудящийся не должен кушать — ведь это против меня направлено!

— Синдетикон варить из всех бесполезных;

— Пора, наконец, перепланировать вселенную;

— Будь я начальник, я бы всем сочинителям приказал на жизнь смотреть весело;

— Из мести нынче пишут, а месть плохое вдохновение;

— товарищ монархист! одолжи рубль до восстановления родины;

— Всё сумбур какой-то. Ты скажешь: поезд из мрака туннеля ещё не вырвался в голубой просвет? А не долог ли туннель? не безвыходен ли?

Большая доля таких мыслей приписана потерянному барину Манюкину. А вот из недавних красных бойцов, разочарованных наступившим НЭПом (модная тогда тема):

— А спекулянтствующая дрянь смеётся. Да, погибла революция.

Митька Векшин ему, «трудным грудным шёпотом» (иначе прозвучит фальшиво, автор-то понимает):

— Ты смеешь задирать хвастливые рога перед революцией? Она идёт из миллионов сердец, валит горы, перешагивает бездны. Революция есть полёт вперёд и вверх.

Ответ:

— А пятка у неё тяжёлая? а глаз в пятке нет.

Промелькнут черты быта: «советский чин, прогуливающий казённые червонцы»; «введение в пивных — просветительных программ»; «обширная борода великого зачинателя»; «приличный притон», а «в соседних кварталах гроздились семьи ответственных работников»; «Глаза людей смотрели глухо, как бы сквозь дымку, за которой укрывались от правды завтрашнего дня»; «Живы ещё слёзы в людях».

Что ж, и это всё — немало. Советская действительность изрядно прикрыта, ГПУ не нависает, как всюду у Булгакова, но Эпоха — не пренебрежена. Да руки надо держать писателю коротко.

Язык Леонова в «Воре» упруг, многими местами изобретателен. Но иногда автор нарушает «звуковой фон», употребляет слова по соседству с прямой речью — непостижимые для говорящего персонажа.

Для передачи пейзажа Леонов ищет свежие выражения. Солнце, луна — каждый раз новыми словами. «Пространные взбеги голубых небес» (между облаками); «небо, заряженное громами, стремглав несло, одетое в дождливые облака»; «небо висело»; «клок неба торчал»; «предвестные лучи»; «бушуют звёзды»; «как не лопнут щёки у ветра?...»; «скачут листья»; «золотозакатный подсолнух»; «ненадыханный май»; «пустовейная тишина»; «слежалась густая, влажная тишина»; «пел снег под ногами»; выражала «вода откровенные свои

смыслы». И городской пейзаж у него виден. (Да и сельский — в лирических сценах юных Мити и Маши.)

Но поиск свежих выражений — и шире, не только к пейзажу.

«То неточное и неуловимое, что люди называют жизнью». — «Большая любовь [к революции, к Интернационалу?], разделённая на всех, согревала не жарче стеариновой свечи». — «Деревья великодушнее людей». — «С грохотом вонзаясь в убегающую даль» (поезд); «тесно уху от грохота»; «полузабытый шелест её одежд»; «робкая видимость слезы»; «изюмные глаза жаворонков»; «шрапнель раскрывала смертоубийственную пятерню»; «каждому металлу своя ржавь» (цвет ржавчины, Пчхов); «ноги лошади махом рвали пространство»; «колесатые гиганты» (автобусы); «многожелезное звучание»; «щекотальная музыка»; Зина «точно держала две дыни за пазухой».

Блистательно выдержана речь Манюкина и Чикилёва. Да и диалоги воровского мира, без пересыщения их жаргоном.

